

В. Ю. АПРЫЩЕНКО

ВЛАСТЬ СИМВОЛОВ ИЛИ СИМВОЛЫ ВЛАСТИ ШОТЛАНДИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Идея национальной принадлежности всегда представляла богатую почву для мифов и символов в силу того, что по своей природе она эмоциональна и экспрессивна, может выражаться во множестве метафор, которые сами по себе символичны и мифологичны. Этнические группы изначально определялись мифами об общей истории, общих предках, героях, о родстве — и все это воплощалось в зримых и дискурсивных символах. Особую роль процесс мифо- и символотворчества приобретает в эпоху, условно называемую нациестроительство, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или *перерождают* нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную, и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую социальными и национальными конфликтами эпоху нациестроительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифо-символического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временные категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.

Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и

настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать их в качестве орудия отстаивания интересов.

В свою очередь символы возникают в процессе развития мифа, который, будучи продуктом деятельности интеллектуальных и / или политических элит, наделяет смыслом какие-то события, определяет врагов и героев, хорошее и плохое. При этом символы придают мифу эмоциональную окраску, тем самым, предлагая его массам, которым он предназначен. В этом смысле миф, содержащий символы, является неотъемлемым элементом процесса нациестроительства в той же степени, как и частью любой культуры. Значение исторического факта редуцируется в процессе мифотворчества, и миф, воплощенный в символах, сам приобретает значение реальности.

Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов — посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.

Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта, и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, являются ядром, вокруг которого конструируется культура¹. Очевидно, что соотношение этих же условий (включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами

¹ Moor H. L. *The Subject of Anthropology. Gender, Symbolism and Psychoanalysis*. Malden, 2007. P. 26.

язык) и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, символ никогда не является просто символом: во-первых, он отражает тот контекст, в котором существует, а во-вторых, всегда тесно связан с субъектом, воспринимающим символ. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и, порой, драматическом процессе нациестроительства, в ходе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, транслирующие национальную идею в широкие слои.

Для многих шотландцев первая половина XIX в. была периодом, когда терялось и уходило в прошлое то, с чем они привыкли ассоциировать шотландский характер и особенности шотландской нации. Три старинных института, которые оставила шотландцам англо-шотландская парламентская уния 1707 года, активно развиваясь на протяжении предшествующего столетия, составили основу институциональной шотландской идентичности. Но к началу XIX в. правовая, образовательная и церковная системы находились в кризисе. Многие юристы, такие как Кобурн или Джеффри, оценивая аналогичные общественные институты в Англии, характеризовали их как самые прогрессивные. В Северной Британии же система приходских школ была разрушена урбанизацией, что позволяло Джорджу Льюису сказать в 1834 г., что Шотландия представляет собой полуобразованную нацию. Церковь, пожалуй, главный институт идентичности, находилась на грани раскола, последовавшего в 1843 г., в ходе которого три шотландские церкви стали претендовать на то, чтобы называться истинными наследницами реформационной традиции².

Шотландская элита вновь, как и столетие назад, впадала в пессимистические настроения по поводу будущего нации. Еще в день подписания англо-шотландского парламентского союза 1707 года граф Шеффилд, один из первых шотландских националистов, воскликнул, что уния означает «конец старой песни»³. Однако, это

² *Finlay R.* The Burns Cult and Scottish Identity in the Nineteenth and Twentieth Centuries // *Love and Liberty: Robert Burns: A Bicentenary Celebration* / Ed. by K. Simpson. Edinburgh, 1997. P. 70.

³ *Scott P. H.* 1707: the Union of Scotland and England. Edinburgh, 1979.

мнение о смерти Шотландии оказалось преждевременным, и уже в середине XVIII в., Александр Карлайл, пресвитерианский священник, модератор и один из интеллектуальных лидеров шотландского Просвещения, говорит, что если шотландцы не смогут защитить от Лондона свое право на национальную милицию, то гордая нация станет провинцией и будет завоевана Королевством⁴. Но и после этого потомки первых борцов за шотландскую независимость, словно не желая отказывать себе в праве быть свидетелями ритуальной смерти шотландской истории, вновь и вновь провозглашают «последние дни Шотландии»: в 1792 г. Роберт Бернс опять прощается с «шотландской молвой», «древней славой», и самим «именем Шотландия», а по прошествии чуть более четверти столетия, уже в XIX в. еще один символ Шотландии — Вальтер Скотт — вновь поет прощальную песнь своей родной Шотландии и ее былой славе; на этот раз поводом стал банковский кризис, выразившийся в попытках уничтожить шотландскую кредитную систему. Подобно инициационному ритуалу, провозглашение шотландской смерти, должно было вновь и вновь возрождать нацию к жизни.

Всякий раз, когда вставал вопрос о притеснении шотландского суверенитета — будь то в экономической, церковной или образовательной сферах, борцы за шотландскую независимость апеллировали к прошлому, взывая к памяти предков и воскрешая былые мифы о свободолюбивой шотландской нации. Использование прошлого в качестве мифа, а, точнее, мифологизация исторической памяти не являются открытием или достижением шотландских борцов за национальную независимость. В равной степени очевидно и то, что акцент на различиях английской и шотландской культур стал традиционным уже в эпоху англо-шотландских войн за независимость XIV и XV вв., когда порой казалось, что южные соседи готовы поглотить Шотландию, стерев из памяти само ее имя.

Однако к XIX в. успешное развитие модернизации сделало отношение шотландцев к своему прошлому как минимум двойственным, и эта двойственность сохранялась на протяжении полстолетия. Прошлое было и временем героического противостояния, в

P. 65.

⁴ *Sher R. B. Church and University in the Scottish Enlightenment. Edinburgh, 1985. P. 226.*

котором предки защищали свободу и независимость своей страны, но оно же одновременно было и периодом, когда Шотландия раздиралась межклановой борьбой, управлялась тиранической знатью, а ее народ влачил жалкое существование. В данном случае не столь важно, насколько такое представление шотландцев о собственном прошлом адекватно отражало историческую реальность, более существенно то, что к началу XIX в. этот миф утвердился не только среди шотландских интеллектуальных и политических элит, но и окончательно проник в массовое сознание.

В равной степени неоднозначным было и отношение шотландцев к англичанам. Образ южных соседей, детерминированный множеством факторов и фактов прошлого, был результатом мифотворчества и сам одновременно порождал новые мифы. Представление о коварных англичанах, купивших продажных шотландских аристократов, трагедия Каллоденского сражения, массовая антишотландская истерия, охватившая Англию в 60-е гг. XVIII столетия — все это было в прошлом. В начале XIX в. возникла другая реальность — шотландские темпы экономического развития опережали английские, Шотландия создавала свою колониальную империю, а средние показатели образования, несмотря на кризис приходского образования, превышали английский уровень⁵.

Модернизация экономической и социальной сферы, совмещенная с трансформацией памяти, сделали необходимой разработку новой национальной мифологии и символики. Несмотря на то, что этот процесс не только не форсировался, но и не был институализирован в качестве идеологической или политической цели, развивался он очень динамично, и уже к середине XIX в. в целом был завершен, заняв рекордно короткое по историческим меркам время. Его развитие и завершение было тесно связано с динамикой модернизационного процесса и соответствовало ей в своих этапах. При

⁵ Согласно данным, приводимым Р. Андерсоном (*Anderson R. D. Educational Opportunity in Victorian Scotland. Oxford, 1983*), в 1855 г. в Шотландии могли расписываться: мужчины — 89%, женщины — 77%; в Англии эти цифры выглядели соответственно 70% и 59%. А если из этих подсчетов исключить гэллоговорящий север Шотландии, то процент будет еще выше. Интересно и то, что некоторые женщины в Шотландии в XIX в. могли написать свое имя на шотландском, английском и валлийском языках.

этом модернизацию нельзя считать непосредственной причиной трансформации идентичности и формирования новой мифологии. И хотя порой возникает соблазн считать национальную интеграцию и ассимиляцию неизбежным и прямым следствием трансформационных процессов с их строительством коммуникаций и развитием экономического сотрудничества, целый ряд фактов этнокультурного развития Европы не позволяют это делать. Скорее, модернизация создавала необходимые условия для деятельности, направленной на преобразование прошлого и его символов.

Противоречивость модернизации, связавшей прошлое и настоящее, заключается еще и в том, что она неизбежно разрушала и изменяла традиционные ценности, меняла контекст существования культуры. В этой связи отношение к ней было тоже далеко неоднозначным. Для шотландцев рубежа XVIII–XIX вв. закономерным представлялся вопрос, не единожды и до того возникавший в умах наиболее просвещенных элит: что из себя представляет нация, какова природа национального прогресса, и каковыми должны быть социальные процессы, сопровождающие модернизацию?

В 1819 г. в «Эдинбургском Обозрении» В. Скотт пишет ряд сатирических статей, изданных под названием «Мечтатель», по поводу готовящейся парламентской реформы⁶. Центральным образом этих статей является капризный и придурковатый архитектор, мистер Витрувиус Вигхам, который, задумав построить новую абсолютно вульгарную и неэстетичную мансарду, разрушает элегантную и симметричную старую готическую крепость. Причем он старается убедить народ в необходимости этих изменений. Итогом этих преобразований становится кровавая гражданская война сторонников и противников старого замка, в результате которой Шотландия превращается в «страну Радикалов», где уничтожается частная собственность, происходят необратимые социальные перемены, общество постепенно опускается до анархии и варварства, а люди возвращаются к племенному образу жизни. И, наконец, вслед за этим начинается последний этап, на котором политический демагог Боб Баблекус убеждает народ, что настала пора демократической политической системы, в которой все, включая жен-

⁶ *Fontana B. Rethinking the Politics of Commercial Society: Edinburgh Review 1802–1832. Cambridge, 1985. P. 165.*

щин и детей, будут обладать политическими правами. Страна в это время парализована бесконечными митингами, предвыборными кампаниями, сопровождающимися коррупцией⁷.

Интересно, что если исторические новеллы Скотта характеризует ностальгия по шотландскому прошлому, его публицистические работы, касающиеся настоящего, критичны и наполнены горькой сатирой. Противоречие не случайное. Более того, оно отражает принципиальную позицию Скотта по отношению к острейшим проблемам современного ему общества. Будучи убежденным тори и лелея героическое шотландское прошлое, патриархальные пейзажи и многовековую культуру своей страны, он не мог без боли смотреть на то, как она разрушается, исчезая под натиском британской модернизации. Но, искренне любя свою Родину, В. Скотт отчетливо понимал, что ее процветание отныне связано только с Англией. Воспетая им Каледония с ее пурпурными холмами, королями долин, мистическими озерами и бравыми хайлендерами отныне превращалась в Северную Британию, в которой процветание отдельных частей зависело от благосостояния целого. Отсюда происходил и особый взгляд на шотландское прошлое и идея необходимости его сохранения.

Но настоящее не должно было разрушать прошлое — в этом шотландские элиты были столь же единоклюшны, как и в вопросе необходимости англо-шотландской интеграции. Многие из них, как и В. Скотт, испытывали очень смешанные чувства по отношению к происходящим в Шотландии переменам: с одной стороны, они с уважением воспринимали беспокойное и романтическое шотландское прошлое, с другой, отчетливо осознавали необходимость рациональной современности. Сложность дилеммы состояла в том, как примирить свободолюбивое шотландское прошлое, древнее наследие и служение ганноверской династии с ее коммерческим настоящим.

Генри Кокбурн, общественный деятель, историк, литератор, близко знавший В. Скотта, отчетливо понимал, что все изменения не просто необходимы, но неизбежны. Свое отношение к переменам он метафорически выразил в сравнении социальных институтов и старого дома: «опасно касаться старого дома, но опасно и ос-

⁷ Ibid. P. 166.

тавлять его среди нового окружения»⁸. Иронически относясь к тем, кто видел в феодальном прошлом некий шарм, он сам, тем не менее, был защитником старых домов, которые уничтожались в Старом Эдинбурге, освобождая место для Нового города, и об этом не раз говорил в публичных выступлениях и в обращениях в лорд-провосту Эдинбурга⁹.

Строительство Нового города Эдинбурга в определенном смысле стало для него символом строительства новой Шотландии. И отношение к этому Кокбурна, который считал, что хотя новый город мог бы принести деньги и быть построенным по передовым образцам градостроительства, он, тем не менее, создавался старой Шотландией, городским советом Эдинбурга, который этим строительством праздновал триумф над самим собой, тоже показательно¹⁰.

Архитектура, как метафора происходящего в Шотландии, — характерный для Кокбурна метод описания современной ему действительности. Он выступает как защитник старой архитектуры, говорит о необходимости сохранения наследия прошлого и удивляется безразличию жителей Эдинбурга, на глазах которых при строительстве Нового города разрушается историческое прошлое. В сельской местности его возмущают те новые земельные собственники, которые уничтожают памятники, находящиеся на их земле.

«Инспекционные поездки» Кокбурна¹¹ — дневниковые записи, которые он вел с 1837 по 1854 гг., объезжая в качестве судьи шотландские графства, скорее напоминают отчет комиссии по сохранению культурного населения, причем, чаще, отчет далеко не радужный. «Местная знать и джентри не отвечают за сохранность прошлого, находящегося на их землях. Мелкие провинциальные города находятся под угрозой, производство наступает на них, и деревушки превращаются в заводы». Но более крупные города тоже находятся под угрозой, на них наступает железнодорожное строительство. Железные дороги сделали слишком доступными для обывателя некогда заповедные места — «сельская жизнь стала

⁸ *Miller K. Cockburn's Millennium. L., 1975. P. 103.*

⁹ *Cockburn H. A letter to the Lord provost on the Best Ways of Spoiling the beauty of Edinburgh. Edinburgh, 1998.*

¹⁰ *Miller K. Cockburn's Millennium. P. 131.*

¹¹ *Lord Cockburn. Circuit Journeys. Hawick, 1983.*

жертвой железнодорожного сумасшествия», — пишет Кокбурн. «Я не уверен, — замечает он, — что есть местечко в Шотландии, прекраснее, чем Перт. Стоящий среди сельской местности, с мягким климатом и почвой, он украшен многочисленными выжившими древними церковными строениями, расположенными прямо на улицах города... Когда-то это действительно было древнее почетное место. Но сейчас там гораздо более современная жизнь, обрамленная в древнюю красоту»¹².

Его «Мемориал», как и «Дневник» В. Скотта, полон драматических переживаний в связи с переменами, происходящими в Британии. Скотт начал вести свои записи в 1825 г., а закончил за несколько месяцев до своей смерти, в год первой избирательной реформы. В этот же период вел свой дневник и Кокбурн. Но если для него 1832 год стал годом славы, то для Скотта — его Армагеддоном¹³. Эти два человека написали два совершенно разных дневника о последних днях уходящей эпохи. В 1831 г. В. Скотт отметил: «Я получил письмо от одного пэра, чье имя пусть останется неизвестным, но который живет в Йестере, он пишет, что если билль будет послан, то он недолго будет носить свой титул, а если будет отклонен — свою голову»¹⁴. Аналогично и Кокбурн: «Время не сделало из меня тори. Но отвращение к монархии никогда не было ни частью вигских взглядов, ни моих собственных»¹⁵. Оба этих шотландца понимали неотвратимость происходящих перемен: «Что касается меня, то мой разум в дне сегодняшнем, но мои мечты в старом мире. Я чувствую, как прошлое уходит от нас все дальше и дальше», — записал в дневнике лорд Кокбурн 19 сентября 1844 г.¹⁶.

Архитектура составляла ту символику, в которой прошлое и настоящее были наиболее визуализированы. Символы Глазго и Эдинбурга, двух самых значимых городов Шотландии, занимают неодинаковое место в процессе становления шотландской нацио-

¹² *Bell A.* Reason and Dreams: Cockburn's practical and nostalgic views of civic well-being // *Lord Cockburn. A Bicentenary Commemoration. 1779–1979* / Ed. by Alan Bell. Edinburgh, 1979. P. 45–46.

¹³ *Miller K.* Cockburn's Millennium. P. 144.

¹⁴ *Ibid.* P. 145.

¹⁵ *Ibid.* P. 116.

¹⁶ *Lord Cockburn.* Circuit Journeys. P. 154–155.

нальной идентичности, соответственно разной роли этих городов в истории и культуре. Если Эдинбург наполнен символами «шотландскости», делающими столицу центром шотландского национализма, то Глазго выглядит как «кельтский город», большая часть населения которого прибыла туда в период индустриальной революции XIX века из сельских районов шотландских гор и Ирландии, чьи жители говорили на гэльском диалекте. Эдинбург же, не испытывавший на себе значимого влияния гэльской культуры и, как политический центр, долгое время доминировавший в Шотландии, в своем развитии имел тенденцию к синтезу собственно шотландской и английской культур. После унии 1707 г. английское влияние в речи и поведении рассматривалось как признак цивилизации и становилось преобладающим в среде эдинбургского среднего класса. Иными словами, если культура Глазго являет собой синтез шотландской и гэльской культуры, то культура Эдинбурга — это соединение шотландской и английской культурных традиций.

Эти процессы нашли отражение и в социальном составе жителей двух шотландских центров. Глазго в XIX в. был населен в основном рабочими, которые являлись носителями пролетарской культуры. Олицетворением ее был рабочий, пьющий виски, не наделенный хорошими манерами и всегда готовый пустить в дело кулаки. Глазго был центром шотландской индустрии и торговли, науки и технологических открытий на протяжении всего XIX и начала XX в. Эдинбург же, наоборот, стал центром искусства, политики и образования. Эдинбургский университет и Эдинбургская крепость, Королевский хирургический колледж и Британская энциклопедия, памятник В. Скотту и Национальный монумент — это лишь некоторые его символы, которые должны были связать величественное историческое прошлое и процветающее экономическое настоящее Шотландии.

Таким образом, если Глазго, сыгравший огромную роль в процессе становления Британской империи — это мастерская мира, то Эдинбург, с его просветительскими тенденциями середины XVIII в., оказавшими влияние на гуманистическую и философскую мировую мысль периода перехода от традиционного к индустриальному обществу — это своего рода «Северные Афины», культурная столица¹⁷.

¹⁷ *Hearn J. Big City: Symbolism and Scottish Nationalism // Scottish Affairs. Edinburgh, 2003. № 3. P. 68.*

Символы и метафоры, мифологизация былого становились не только средством выражения отношения к прошлому и настоящему, но и способом сохранения того прошлого, которое было наиболее близко шотландцам — романтического, героического и ностальгического исторического идеала. А тот факт, что этот процесс происходил в условиях нациестроительства, обусловил реализацию шотландского мифо-символического комплекса в форме национальной мифологии. Образы прошлого и его героев превращались в символы, должны объяснить настоящее.

Представление шотландцев о прошлом обуславливалось как отношением к правящей ганноверской династии, так и памятью о Стюартах, что находило выражение в «ганноверском» и «стюартовском» мифах. Еще в середине XVIII в. они противостояли друг другу, будучи выражением политического конфликта, разделившего Шотландию. Оба они являлись разновидностями национальной мифологии, отражая разные этапы ее развития, и, что еще более интересно, оба использовали одинаковые символы. Постоянная апелляция к прошлому делала его цельным и самодостаточным фактором формирования идентичности, превращая само прошлое в символ. Прошлое как фактор и символ национальной идентичности не является исключительной чертой процесса формирования «шотландскости» и широко использовалось в большинстве аналогичных процессов, шотландский же образец интересен тем радикальным поворотом, произошедшим на протяжении жизни одного поколения, знаменовавшим переход от «стюартовского» мифа к «ганноверскому». Вторым символом, используемым в обоих мифах, был символ горца, хайлендерские культурные атрибуты, включавшие визуальные и нарративные знаки, имевшие под собой общий дискурс «дикости», которая в условиях модернизации приобретала оттенок романтики.

Власть горских символов в первой половине XVIII в. во многом определила мифологию якобитского движения, связав образ хайлендера и якобита — сторонника династии Стюартов, при этом и сам образ шотландского горца был подвергнут мифологизации. Представление о горце как о воспитанном и воинственном шотландском патриоте, не поддавшемся на обещания английского золота, сопровождалось развиваемыми шотландскими интеллектуалами идеями шотландского республиканизма, хранителями которого гор-

цы и являются. «Горец-патриот» становится эквивалентом английско-го «джентльмена», и именно такой образ хайлендера был использован принцем Чарльзом Эдуардом Стюартом в качестве зримого воплощения идеи шотландской свободы и справедливости. Горец, таким образом, стал не просто символом преданности династии Стюартов, но и знаком верности своей нации и культуре. Однако в первой половине XVIII в., когда в эпоху якобитского движения стюартовский миф приобрел ярко выраженное политическое значение, стояла задача ретрансляции образа горца-патриота на все простюартовское движение. Средством решения этой задачи стала «хайлендеризация» якобитской идеи, составившая сердцевину якобитского мифа.

Визуализация образа горца должна была способствовать превращению мифа в символ. Тот факт, что в войске Чарльза хайлендерское платье носили представители всех регионов Шотландии, в том числе и равнинной, был отмечен не единожды. Pamфлет «Хайлендеры [sic!] в Маклесфилде в 1745 г.» рисует «молодого лоулендера, но в хайлендерской одежде». По мнению Брюса Ленмана, Чарльз намеренно одевал своих людей в горский костюм. А впервые на этот факт обратил внимание Брюс Сеттон в «Шотландском историческом обозрении» в 1928 г., когда отметил, что свидетели не замечали никакого отличия между офицерами Кромарти, Локхил и Грантов, с одной стороны, и Гленбакетов, Огилви и Рой Стюартов, с другой¹⁸. Иными словами, хайлендерско-лоулендерский союз был воплощен в идее горской народной культуры, символом которой стала традиционная хайлендерская одежда. Мнение Брюса Сеттона подтверждается и другими источниками: Джордж Мюррей, один из равнинных землевладельцев, так описывает свой выезд из Карлайла: «В этот день я был в моем пледе... без штанов... Ничто так не ободряет людей, как вид командира, одетого так же, как они». Лорд Льюис Гордон заявил в те дни, что он, скорее, примет горскую одежду, чем деньги из Абердина. А в отчете 31 октября 1745 г. было отмечено, что из пяти тысяч якобитов, находящихся под оружием, две трети составляют хайлендеры, одну треть — лоулендеры, одетые в костюм горцев, как и остальные. Есть свидетельства и о том, что французские офицеры, высадившиеся на восточном побережье, носили хайлендерское платье, воз-

¹⁸ Первая группа — это равнинные кланы, вторая — горские.

можно, правда, потому, что красные мундиры не гарантировали от нападения самих горцев. Все это, кстати говоря, затрудняет подсчеты соотношения горцев и лоулендеров в войсках якобитов, как и подсчет численности якобитской армии в целом, хотя именно ответ на вопрос о степени поддержки восстания 1745 года мог бы пролить свет на природу якобитского мифа.

Начиная со второй половины XVIII в. образ горца-якобита становится далеко не столь однозначным. Поражение якобитизма, как считали многие во второй половине XVIII в., было вполне закономерным, а образ якобитов уже тогда становится, по крайней мере, очень двойственным: они и защитники прошлого, но они и утописты-романтики, не нашедшие широкой поддержки среди шотландцев. Одновременно с формированием неоднозначного образа якобитов, оформляется и особое отношение к новой династии Ганноверов, чей триумф со временем начинает осознаваться как благо для Шотландии. Формируется новый «ганноверский миф», пришедший на смену «стюартовскому». Но апеллируя к национальному прошлому, этот миф должен был использовать те же узнаваемые и близкие символы, что являлись частью и стюартовского мифа.

После подавления последнего крупного якобитского восстания правительство приняло все меры для того, чтобы изъять такие символы «шотландскости» как одежда, тартаны, оружие, волынки. Наказанием за ношение тартана было шесть месяцев заключения для первого случая, и семь лет каторги — для второго. 12 августа 1746 г. закон о запрете ношения шотландской одежды был одобрен монархом и в дальнейшем реализовывался со всей строгостью. Войскам было приказано в случае его нарушения «приводить нарушителя прямо в его наряде в суд, который силой своей власти должен был наводить порядок»¹⁹. Лишая традиционные символы права на существование, уничтожением этой внешней стороны горской культуры, правительство рассчитывало не только разрушить клановую солидарность, лежащую в основе самого горского традиционного общества, но и устранить зримые символы традиционной идентичности. Иными словами, опасность представляли не килты, а та культура и практики, которые они символизировали.

¹⁹ *Omond G. W. T. The Lords Advocates of Scotland, from the close of the fifteenth century to the passing of the Reform Bill. Edinburgh, 1883. P. 32.*

Роберт Стивенсон в романе «Похищенный», события которого относятся к 1751 г., так описывает сложившуюся с одеждой ситуацию: «Горский костюм был со времен восстания запрещен законом, местным уроженцам вменялось одеваться по обычаю жителей равнины, глубоко им чуждому, и странно было видеть пестроту их нынешнего облачения. Кое-кто ходил нагишом, лишь набросив на плечи плащ или длинный кафтан, а штаны таскал за спиной как никчемную обузу; кое-кто смастерил себе подобие шотландского пледа из разноцветных полосок материи, сшитых вместе, как старушечье лоскутное одеяло; попадались и такие, кто по-прежнему не снимал горской юбки, только прихватил ее двумя-тремя стежками посередине, чтобы преобразить в шаровары вроде голландских. Все подобные ухищрения порицались и преследовались: в надежде сломить клановый дух закон применяли круто...»²⁰.

Якобитское восстание и его подавление были своеобразной искупительной жертвой ради того, чтобы по прошествии нескольких десятилетий наполнить прежние символы новым содержанием. Разрушению подвергался тот контекст, в котором шотландская история могла быть «прочитана» как история борьбы с Англией, в то время как в перспективе в новых условиях модернизированной Британии англо-шотландское прошлое должно было восприниматься как история единения Шотландии и Англии. Политика «умиротворения» должна была разрушить, говоря словами У. Эко, идеологию, т. е. «все то, с чем так или иначе знаком адресат и та социальная группа, которой он принадлежит»²¹, но не уничтожить культурные коды. Эта культура на несколько десятилетий, вплоть до начала XIX в., осталась в своеобразном заточении, и лишь потом была вновь возвращена шотландцам.

Уже к началу XIX в., когда Шотландия была гораздо более лояльной частью королевства, якобитский миф и символы якобитизма более не угрожали Британии и поэтому могли быть возвращены шотландцам. Культурная реабилитация якобитизма, позволившая

²⁰ Стивенсон Р. Л. Похищенный // Стивенсон Р. Л. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. М., 1981. С. 98.

²¹ Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006. С. 137.

реанимировать его символы, стала той основой, на которой вновь была возведена идея «шотландскости». Старые горские символы возвращались в новый культурный контекст модернизированной Шотландии, в которой интеллектуалы настойчиво работали над созданием новой версии шотландского прошлого. Этот процесс обусловил и то, что прежние символы приобретали иное значение.

На протяжении 1820–40-х годов произошло разделение представлений о якобитизме и стюартовского мифа, основа которого была заложена еще в конце XVII в. Эти два явления были связаны политической борьбой, в которой они реализовывались. Соответственно, необходимо было разделить их, придав обоим, и особенно якобитизму, культурную окраску. Так рождался новый якобитский миф. Отныне якобитизм становится движением за культурную самобытность и, соответственно, должен быть реабилитирован. О Стюартах чаще предпочитали молчать, возможно, потому, что представление о том, что «Чарльз Эдуард Стюарт воплотится, для того, чтобы спасти [кельтскую] расу», все еще было живо в Шотландии²². Якобитский миф, который в первой половине XVIII в. был идеологической основой англо-шотландского противостояния, теперь становился частью «ганноверского» мифа, символизируя лояльность шотландцев Британии.

Способом выразить свой юнионизм (как и антикварианизм), как форму преклонения перед традицией в условиях модернизации, стал для шотландцев визит Георга IV в Шотландию в 1822 г. Именно в ходе монаршего посещения Шотландии было продемонстрировано, что, с одной стороны, дух шотландцев, их культура сохранились в форме собранных и хранимых частичек истории, а с другой, это минувшее уже не является угрозой Британии.

Приезд Георга, вызвавший невероятный ажиотаж среди шотландцев, отражал встречный англо-шотландский процесс движения культур. С одной стороны Лондон, по прошествии более полувека после того, как якобитизм прекратил свое существование в качестве угрозы британскому правлению, давал понять, что прошлый конфликт исчерпан, и ничто не мешает Англии и Шотландии на основании общих целей строить новую единую культуру. В этой

²² *Pittock M.* The Invention of Scotland: the Stuart myth and the Scottish Identity, 1638 to the present. L., 1991. P. 101.

связи, власть как бы возвращала шотландцам право пользования их традиционной культурой, которая более всего ассоциировалась с горцами, бывшими когда-то символами якобитского протеста.

Королевский визит оставил чувство, что Шотландия не была уже прежней провинцией Британии, «бедной, старой матроной в лохмотьях». Шотландцы почувствовали свою значимость для империи и то, что отныне их культура не будет подвергаться истреблению, а история осмеянию. Они чувствовали гордость за свое великое прошлое, но это прошлое в соответствии с положением, которое занимала Шотландия, нуждалось в переосмыслении. Иначе говоря, возвращение якобитизма в форме его символов означало изменение отношения не просто к политическому явлению, расколовшему страну в первой половине XVIII в., но это было знаком новой политики по отношению к прошлому.

Это давало возможность шотландцам вновь ощутить собственную власть, почувствовать себя хозяевами своей судьбы. Их роль в строительстве британской империи, участие в качестве солдат и служащих колониальной администрации стали свидетельствами в пользу верного выбора, сделанного ими в 1707 г. В XIX в. англо-шотландская уния рассматривалась уже как собственный выбор шотландцев. Однако национальный дискурс рубежа XVIII–XIX вв. свидетельствовал не только о власти над настоящим, но и контроле над прошлым. Интеллектуальные элиты смело брались за написание новой истории Шотландии, воскрешая былые мифы и символы, которые в модернизационном контексте наделялись принципиально иным значением.

Когда во время визита Георга IV в Эдинбург в 1822 г. Скотт заметил, что «войска и люди» являются лучшими вещами, которые мы можем показать королю, тем самым он реанимировал теорию патриотической доблести, но теперь уже более в британском аспекте, нежели в шотландском. Во-вторых, эта сентенция была исполнена в неловко антикварной манере — под «войсками» он подразумевал шотландскую армию исчезнувшей якобитской эры. Это был гимн патриотической доблести, облаченный в безопасную устарелую форму для того, чтобы подобострастно демонстрировать британскую лояльность, при этом вызывая любопытство Британии. Спрос на шотландки в начале XIX в. быстро увеличивался, и по-

этому Скотт повторяет: «Мы — клан, и наш Король — вождь». Эйфория возрождающегося якобитизма, возвращающегося теперь уже в британском имперском облике, охватила шотландскую столицу, поскольку теперь уже «якобитский король» сидел в Лондоне, и трагедия Каллодена разделялась всей британской нацией. Та сфера, которая во многих европейских странах XIX века была заполнена национализмом, отстаивающим лозунги политического суверенитета, в Шотландии была занята националистическими символами шотландской лояльности Британии. Коммерческий спрос начала XIX в. на шотландку, которая являлась одеждой и символом якобитского движения, свидетельствует о том, что клетка, прежде символизировавшая военную угрозу, становится клеткой имперского триумфа и индикатором лояльности горцев. В историческом сознании память о якобитах-бунтовщиках трансформируется в память о якобитах-защитниках.

Так начиналась культурная реабилитация якобитизма, который в первой половине XVIII в. расколол страну, теперь был бессилен, и свидетельством этого служит его романтизация. Ликвидация в массовом сознании политического значения якобитского движения сыграла важную роль в формировании единства, общей памяти, которая была «выборочной» и служила потребностям британского государства²³. После Ватерлоо торийское правительство провозгласило хайлендеров основой британской армии и носителями традиционной лояльности, ассоциирующейся с религией, правилами морали и патриотизмом²⁴. Это была санация якобитизма, в рамках которой он становился символом, сопровождаемым множеством знаков, атрибутов, воскрешающих в памяти лишь романтические эпизоды якобитского прошлого. Такими атрибутами становились старинные палаши, вереск, мифы и горские песни. Все это вытесняло религиозный, международный, династический аспекты якобитизма, оставляя лишь образ его как провинциального движения горских романтиков.

²³ *Donaldson W.* The Jacobite Song: Political Myth and National Identity. Aberdeen, 1988. P. 65, 93-94.

²⁴ *Whatley C. A.* Scottish Society 1707–1830. Beyond Jacobitism, towards industrialization. Manchester; N.Y., 2000. P. 3.

При этом интересно, что трансформируется даже семантика внешности якобита, культурный архетип которого эволюционирует в процессе интеграции в британские имперские структуры. Гиперболизация образа якобита, выразившаяся в наделении его символами маскулинности, к которым в XIX в. относились галантность, страстность, налет дикости, становится, вместе с тем, частью процесса трансформации шотландской идентичности. И точно так же, как еще столетие назад, гиперболизация выражалась в использовании символов людоедства и зверской жестокости, теперь все это было элегантно преобразовано в символы примитивной лояльности и мужественности. На изображениях шотландских горцев викторианской эпохи они предстают в образе романтиков-великанов, непринужденно поедающих овсянку. Таким образом, кулинарная эволюция — от людоедства к овсянке, отражает общую динамику процесса трансформации символов якобитизма — от угрозы к защите. Да и портретные изображения «знамени» якобитского Великого восстания, Чарльза Эдуарда, выполненные в XIX в., тоже далеки от использования образов кровожадного агрессора. Невинный, отчасти ребяческий, а отчасти ангелоподобный лик «молодого претендента, отраженный и в самом прозвище — «милый принц Чарли», тоже является частью процесса санации якобитизма. Его молодость, акцентирование того, что он «принц», но не «король», априори делали наивными и слишком романтическими претензии якобитского движения на политическое лидерство.

Все эти образы, переключаясь из массового исторического сознания в профессиональное историописание, определяли и динамику развития либеральной историографии, которая на протяжении практически трех столетий рассматривала Шотландию как «отсталую», но не как «другую» нацию²⁵. В этих историографических концепциях «сорок пятый» становится просто диким приключением, наподобие того, что соблазнил юного Эдуарда в «Уэверли» В. Скотта. Якобитизм, таким образом, был спутником историографических конструкций, в которых подчеркивалась незрелость шотландской нации, искусственный характер модернизации шотланд-

²⁵ Kidd C. Antiquity and national Identity // English Historical Review. 1994. № 1197-1214. P. 12.

ского общества, которая была привнесена на север лишь благодаря цивилизаторской миссии Англии. Значение творчества шотландских интеллектуалов в том, что они, используя сентиментальный блеск якобитизма в условиях либеральной конституционной системы, превратили шотландское прошлое в идеологически нейтральное представление. Санация якобитизма, включая в себя и переход горцев на военную службу, и коммерциализацию атрибутов «горскости», и, наконец, романтизацию якобитизма, в целом растянулась на столетие — уже в середине XIX в. горцы не только не представляли угрозы для Британии, но были романтическим символом ее могущества.

Политическое прошлое, воплощенное в истории войн с Англией, подверглось забвению. Это был уникальный в европейской истории случай «социальной амнезии» — ради величия собственной нации необходимо было забыть ее прошлое. В то время как в большинстве других европейских случаев процесс нацистроительства предполагал воскрешение прошлого как борьбы народа за свою независимость. В этом смысле «смерть шотландской истории» — концепция, предложенная М. Эш, думается, может быть рассмотрена и как смерть шотландской истории как *самого прошлого*²⁶, и как смерть шотландской национальной историографии, окончательно давшая о себе знать в творчестве В. Скотта.

Горская культура превращается в XIX в. в китч, тем самым, отражая эволюцию государства и его интересов. Пройдя проверку временем, будучи наделен устоявшимся стилистическим значением, китч означал в глазах широкой публики не только «художественность», он не только «усплаждал публику уже апробированными стилистическими значениями»²⁷, но и должен был показать, что горская традиция и культура выжили, сохранив прежнюю форму, но обретя новое содержание. Характерной чертой этого китча стала его поразительная динамика, использование исторических образов и адаптация их к потребностям модернизирующегося общества. Одна-

²⁶ Постоянное тяготение Шотландии к Англии, ее зависимость, сделавшая неизбежной, в конечном счете, унию 1707 г., переход объясняется отсутствием жизнеспособной перспективы для Шотландии.

²⁷ Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006. С. 131.

ко, для Шотландии, которая, как и любой другой модернизирующийся социум, сохраняла элементы традиции, было чрезвычайно важным представлением о значимости патриархальной аграрной культуры, лежащей в основе народной традиции и, в итоге, составлявшей важную часть культуры национальной²⁸. Это и стало основой формирования национальной мифологии, которая развивалась благодаря возрастанию ценности символических, экономических, образовательных благ, производимых и потребляемых совместно²⁹.

Вторая половина XIX в. стала и временем поступательного возвращения в обиход шотландского языка, который когда-то до унии 1603 года был языком шотландского судопроизводства, но с тех пор стал считаться вульгарным. Отмена в 1855 г. специальных налогов для газет и журналов, использующих его, привела к резкому всплеску объема материалов, написанных на старом шотландском диалекте. У. Доналдсон обращает внимание, что огромное количество материалов, посвященных шотландской социальной жизни, проблемам рабочего класса, или радикального движения, а также информация о внешней политике — все, что могло быть интересно либеральным читателям, печаталось на этом языке³⁰. Некоторые журналы и серийные издания стали издавать древние шотландские поэмы и баллады. Представление о том, что шотландская народная культура XIX века воспринималась как пережиток, как нечто провинциальное, не имеет под собой почвы. Наоборот, эта культура пользовалась большим, в том числе и коммерческим, спросом³¹.

Своеобразным символом этой популярности, символом любви к романтическому прошлому Шотландии к ее идеалам, стали ежегодные каникулы королевской семьи в замке Балморал на Дисайде, построенном в 40-е гг. XIX в. Эта королевская традиция, которая сохранилась и по сей день, привела к тому, что излюбленным местом отдыха среднего класса не только Шотландии, но и всего королевства стал именно Хайленд, где появились отели, дачи, площадки для гольфа. Города в Хайленде (такие, как, например,

²⁸ *Martin T.* Republics, nations and tribes. L., 1995.

²⁹ *Тамур Ю.* Класс и нация // *Логос*. 2006. № 2 (53). С. 44.

³⁰ *Donaldson W.* Popular Literature in Victorian Scotland. Aberdeen, 1986.

³¹ *Paterson L.* The Autonomy of Modern Scotland. Edinburgh, 1994. P. 61.

Инвернесс) в период между 1851 и 1891 гг. увеличились вдвое. По примеру королевы Виктории средний класс Шотландии стремился проводить каникулы в горах. И хотя Б. Дизраэли считал за счастье, что ему дважды удалось избежать таких поездок, эти путешествия для якобитски настроенных тори стали своеобразной победой. У. Гладстон же, одержимый ирландской проблемой, побывал в Ирландии всего лишь единожды, в то время как в Шотландии проводил время регулярно³². Во время одной из своих поездок в Хайленд Виктория записала в своем дневнике: «Нэйрн, расположенный на фоне залива Морэй, выглядел очень мило; мы проехали Каллоден — поросшее вереском место кровавой битвы. Вокруг все было прекрасно, и сцена оставила замечательное впечатление»³³.

Социальная и территориальная мобильность, характерные для модернизирующегося общества, сыграли в истории Шотландии XIX века огромную роль. Это было не просто переселение горцев в индустриальные районы, это было движение культуры. «Народный журнал», наиболее популярная шотландская газета периода викторианства, освещавшая проблемы возрождения гэльской культуры, наибольшим спросом пользовалась не только в Хайленде, но и в индустриально развитом Лоуленде, и на северо-востоке, ориентированном в большей степени на фермерское хозяйство. Газета «Глазго и Западная Шотландия» в 1890 г. расходилась еженедельным тиражом в двести пять тысяч экземпляров и являлась лидером продаж среди газет. Наибольший интерес вызывали материалы, связанные с описанием традиционной жизни Шотландии, ее доиндустриальной культурой, проза и поэзия, написанная на диалекте, еще использующимся на Севере, но уже уходящим в прошлое, или описание явлений политической жизни, основанных на древних шотландских традициях³⁴. Газетные материалы были адресованы тем жителям крупных городов, чья память все еще оставалась в сельской местности, и тем, кто, даже перебравшись в город и, ассоциируя себя уже с жителями индустриальной Шотландии, втайне

³² Harvie C. *Scotland and Nationalism. Scottish Society and Politics from 1707 to Present*. L., 1998. P. 55.

³³ *Queen Victoria. Our Life in Highlands*. Newton Abbot, 1972. P. 149.

³⁴ Donaldson W. *Popular Literature...*

продолжал считать себя горцем, не забывая язык и культуру своих предков³⁵. Культура, гэльские мечтания стали той сферой, куда был вытеснен национализм. Генри Кокбурн, сказал в 1853 г.: «Особенность народа, и впечатление от него нельзя облекать лишь в формальные рамки»³⁶. Шотландцы создали общество, где чувство нации лежит в народе и в культуре, а также в символах этой культуры, а государственные формы лишь очерчивают их.

Несмотря на преобразования, которые Шотландии довелось пережить в XVIII и XIX вв., ей удалось сохранить символы, составлявшие ядро ее идентичности. Представления о прошлом, а вместе с тем и о нынешнем положении Шотландии в рамках Британии, нашло свое воплощение в сформировавшемся мифо-символическом комплексе — смеси мифа, памяти, знаков и символов, которая не просто определяла принадлежность к шотландской нации, но также и саму идею «шотландскости», выражая то, что значит быть шотландцем. Важно, что существование, статус и безопасность шотландской нации находились в прямой зависимости от статуса ее национальных символов, включая символы прошлого, чем и объясняется их значимость для нации³⁷. И именно поэтому люди готовы были отстаивать эти символы, следовать за своими лидерами, приравнявшими национальные символы к самой нации.

Это отождествление символов с самим прошлым способно, вероятно, объяснить, почему идея нации, и в исторической ретроспективе, и в современности, столь могущественна, откуда она черпает свои силы. Человек, защищающий национальную принадлежность, отстаивает в равной степени и свою идентичность, собственные интересы, в том числе и материальные блага, и борется за выживание своего народа, своей территории, за веру — за все то, что воплощено в национальных символах. И очевидно, что попыт-

³⁵ *Harvie Cr., Walker G.* Community and Culture // *People and Society in Scotland. Vol. II. 1830–1914* / Ed. by W. H. Fraser and R. J. Morris. Edinburgh, 1990. P. 343.

³⁶ *Smout T.* Patterns of Culture // *People and Society in Scotland. Vol. 3. 1914–1990.* Edinburgh, 1992. P. 261.

³⁷ *Kaufman S. J.* Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca; L., 2001. P. 25.

ки создать идею нации только тогда успешны, когда они подкрепляются политикой в области символов.

В результате процесса трансформации идентичности к середине XIX в. сформировался целый ряд бинарных оппозиций, отражающих противоречивое отношение к процессу англо-шотландской интеграции, однако все они ориентированы не по вертикали, т.е. имеют не диахронный, а синхронный характер, примиряя историю и современность, подчиняя прошлое настоящему, и рассматривая настоящее как ту систему координат, в которой оценивается событие. Среди таких дихотомий наибольшее значение имели противопоставление «разума», фиксировавшего целесообразность упрочения англо-шотландских контактов и «души», зовущей шотландцев в независимое прошлое; так называемое «изобретение традиции», которая должна была примирить прошлое и настоящее; и, в конечном счете, сама категория «юнионистский национализм».

Удивительным образом эти противоречия преодолевались в процессе обработки прошлого, формируя новый нарратив, отвечающий потребностям времени. Шотландские интеллектуалы XVIII – начала XIX в., которым довелось жить в период наиболее драматической ломки идентичности, сочетая разум, воспетый идеологами Просвещения, и сердце, призывающее сохранить исконный шотландский дух, отыскивали ответы на волнующие их вопросы в прошлом, одновременно, адаптируя историю к реалиям модернизирующегося общества. Делая предметом своих изысканий прошлое, они транслировали его в современную им Шотландию, используя политику в области символов. Превращение культуры и самого прошлого в китч было необходимо для того, чтобы элитарные идеи стали достоянием всей нации, тем самым, преодолевая кризис идентичности.

В процессе этой трансляции происходила неизбежная редукция памяти о прошлом, воплощенной в визуальных, нарративных и дискурсивных символах, формировавших такой язык и знаковую систему, в категориях которой можно было бы объяснить происходящие изменения. Эта знаковая система, которая даже при утрате формальной независимости Шотландии, позволила шотландцам

сохранить собственную культурную идентичность, выжившую, несмотря на драматические потрясения XVIII века. На короткое время эти символы, коды «шотландскости», были изъяты из обращения, чтобы по окончании политики «умиротворения» вернуться уже в новое общество развивающейся модернизации и в новом контексте обрести иной редуцированный смысл. Эта символика находила свое выражение как в видимых знаках, таких как тартаны, клановые имена, городская архитектура, язык и т. д., так и в формирующейся мифологии и культивировании отдельных сторон шотландской реальности, которые составляли наиболее ощутимые (зримые и дискурсивные) ее отличия от Англии.

Многие символы в этом процессе приобретали вневременное значение, сохраняя форму, но транслируясь из одного мифа в другой, приобретая разное, порой, противоположное содержание. Если «стюартовский» и «ганноверский» мифы противостоят друг другу как прошлое и настоящее, то горские символы должны были связать эти две временные категории. При этом национальные символы свидетельствовали не только о процветании Шотландии, как результате собственного шотландского выбора, сделанного в 1707 г., но и о том, что шотландцы обрели власть над прошлым, установив над ним эффективный контроль, направленный на благо своей нации.